

МОНАШЕНКА

Свеча горит, мерцает лик Христа,
и келья у монашенки чиста,
отмытая студёною водой.

А я, ещё сопливый, молодой,
смеялся про себя, когда она
молилась у открытого окна,
и осеняла дерзкого меня
знаменьем крестным,
словно мы родня.

Я к этим сантиментам не привык,
я убегал, ей показав язык,
был пионером, яростным к тому ж,
не понимая верующих душ.

И бабушка меня в такие дни
бранила: ишь, проказник, не дразни,
она святая!

А я её не понимал,
но и вопросами не донимал.

Монашенка жила здесь много лет,
с тех пор, как получил полдома дед
в монастыре, что разогнал ревком.
А бабушка за сеньями потом
ей выделила угол: пусть живёт,
ведь человек! Тогда мне было год.
Вся в чёрном, как ворона,
в клобуке,
с корявым, странным посохом в руке,
она была печальна и стара,
но верила в пришествие добра.
Я разузнал случайно, что меня
они крестили с бабушкой.

Браня,
отец не выбирал для тёщи фраз,
всё списывал на бабушкин маразм.
А в сторону монашенки рукой
махнул: уже в гробу одной ногой,
а всё туда же!
Он был коммунист,
красив, широкоплеч, но не речист.
Мать мне однажды, крестик подарив,
сказала, мол, тот самый, из Твери,
что бабушка так долго берегла.
А большего поведать не могла:
жестоки были к людям времена,
совсем недавно кончилась война,
и Сталина суровая рука
была ещё достаточно крепка.
Я крест тогда же быстро обменял
на пистолет, который не стрелял,
на “парабеллум”, — не хухры-мухры,
в придачу получив кисет махры.
Махру отец у сына отобрал,
а заодно и задницу надрал,
и “парабеллум” разобрал совсем,
вот так вот и остался я ни с чем...
Полвека пролетело с той поры.
Мне снятся монастырские дворы,
игра в войну и спеющий паслён,
и то, как в первом классе был влюблён.
И келью, где монашенка за нас
молилась от души, не напоказ.
Я в Троицу на службу приходил,
вдыхал пьянящий ладан из кадил,
смотрел на лики, но внутри меня
не вспыхнуло небесного огня.

А нынче, старый, думаю — она
была, как лики те, озарена
великой верой в светлую любовь,
что к жизни возрождает вновь и вновь.

Мы ездим на Афон, в Иерусалим
и о святынях древности скулим,
вполне не понимая до конца
сакральный смысл тернового венца
и крестного пути.

Господь, прими
молитвы покаянные мои!

Пускай ещё незрелые они,
но ведь и я не завершаю дни.
Мне трудно подобрать в душе слова,
а вот она конечно бы смогла.

ДОЖДЬ

Сгустились тучи за моей спиной
и хлынул дождь, безудержный и тёплый,
забились листья,
задрожали стёкла,
и стало страшно, как перед войной.

А дождь крепчал, шагая на восток,
бурлил ручьями в водосточных трубах,
смывал с дороги мусор,
зримо, грубо
сносил с обочин гальку и песок.

Шуршал в листве, катился под откос
и реку наполнял водою рыжей,
та становилась яростней и ближе,
подтапливая пашни и покос.

Дождь сыпался, струился, лепетал,
кипящей обратил поверхность пруда
да по щекам мне искренне хлестал,
напоминая, кто я и откуда.

Я вдруг увидел, как с тобой, босые,
по лужам пузырящимся бредём,
дождю подставив лица молодые.
И захотелось стать таким дождём.

Лететь с небес, подставив ветру грудь,
и биться оземь зло, неутомимо,
и каплею последней соскользнуть,
слезинкой по щеке своей любимой.

АВГУСТ

Закончились белые ночи,
сошёл изнурительный зной,
но лето пока мироточит
сосновой янтарной слезой.

Осенние признаки года
нигде не заметны ещё,
капризы неверной погоды
едва ли берутся в расчёт.

Но что-то легонько тревожит
в предутреннем свете меня
на влажном брезентовом ложе
у всполохов жарких огня:

кусты, порыжевшие еле,
а может быть, капли росы,

повисшей на лапнике ели
в рассветные эти часы.

Как не потревожить, не знаю,
тебя — и лежу, не дыша.
А сердце моё замирает
и тает от счастья душа.

Восток над туманной поляной
багрян и пронзительно чист.
И пахнет знакомо и пряно
багульника бронзовый лист.